

ЗИНАИДА ГИППИУС

НЕ

ЗАНИМАЮТСЯ

Зинаида Николаевна Гиппиус

Не занимаются

Аннотация

«Только что распускались деревья. В бледно-прозрачной аллее монастырского сада сидели вместе на лавочке благообразный, полный, чистый монах и купчиха.

Купчиха приехала в монастырь из Твери, к старцу Памфилию, к которому ездили многие, потому что он был известен святой жизнью и считался прозорливцем.

Поздняя обедня отошла, но к старцу еще не допускали. Сквозь едва опущенные, нежные деревья виден был собор невдалеке, паперть, покрытая народом. В серо-коричневой толпе богомольцев – черные пятна монахов...»

Зинаида Гиппиус

Не занимаются

Только что распускались деревья. В бледно-прозрачной аллее монастырского сада сидели вместе на лавочке благообразный, полный, чистый монах и купчиха.

Купчиха приехала в монастырь из Твери, к старцу Памфилию, к которому ездили многие, потому что он был известен святой жизнью и считался прозорливцем.

Поздняя обедня отошла, но к старцу еще не допускали. Сквозь едва опушенные, нежные деревья виден был собор невдалеке, паперть, покрытая народом. В серо-коричневой толпе богомольцев – черные пятна монахов.

Солнце белило землю дорожки. Тени от прозрачной листвы тоже были прозрачные, бледные, нежноузорчатые.

– Так, сударыня, – говорил о. Леонтий, монах, с которым купчиха, приехавшая еще с вечера, успела познакомиться. – Дело Божье. Отец Памфилий прозревает, многое прозревает. Смотря по тому, с какой нуждой к нему идут. И простой народ идет, и господа наезжают.

Купчиха нерешительно вздохнула. Она была немолодая, но моложавая, полная; все в лице у нее было круглое, и глаза, и нос, и рот; круглое – и приятное. Гладко расчесанные волосы, чуть с проседью, шляпка с подвязушками, темноватое платье и кофта, хорошие. В руках ридикюль.

– Дело-то мое очень трудное, батюшка, – сказала она. – Такое трудное дело. Вдова я, сына имею, одного-разъединственного.

– Пьет, что ли? – спросил о. Леонтий, жмурясь от солнца. – Али непочтителен?

– Кабы пил! И не пьет, и ко мне почтителен. Он почтителен, потому вдовею я давно, и сама хозяйка, а у нас три лавки. Он у меня к делу хорошо приучен, однако я его всего могу лишить, потому капитал на мое имя. Но, конечно, один он у меня.

– Так в чем же горе-то ваше, матушка?

– Да вот и горе. Такое уж горе! Пошел ему двадцатый год – я его и женила, благословясь. Невеста попалась – золото. Сирота, тихая, из себя миловидная, Васюту любит, лучше нельзя. А два года прошло – она у нас и обезножь.

– Как так?

– Да внутреннее, говорят, повреждение. Родила несчастливо, а после того и не встает. Сама ничего, здорова, а какое уж! Полчеловека.

– Ага, так, – сказал о. Леонтий, качнув головой. – Болящая, значит. Что ж, исцеления бывают.

– Исцеление уж где ж! Мы и в Москву, по всем докторам ее возили, и к чудотворцам ездили. В Сарове два раза были. Легче нет нисколько. А доктора говорят – окончательное внутреннее повреждение. Жить, говорят, сколько угодно может, ну, больше, говорят, и не ждите ничего.

– Крест вам, матушка, послан, – наставительно сказал о. Леонтий. – А вы не ропщите.

Купчиха всплеснула руками.

– Видит Бог, не ропщу! Я ее, Аксюту, как дочь жалею! Разве я на тяготу от нее ропщу? Вы дальше-то послушайте!

Она вынула из ридикюля платок, утерлась и словоохотливо и озабоченно продолжала:

– Ну, после этого Вася мой ждал-пождал, очень, конечно, беспокоился и грустил, а вдруг и стало мне известно, что он в моем же дому при живой жене с Глашкой связался!

О. Леонтий опустил глаза.

– Взята была из милости к нам девушка, тоже сирота и дальней родней нам приходится... По дому она... Прислушивается. Хаять не хочу, ничего девушка, и здоровая такая... Ну, однако, ужаснулась я. Призываю Ваську; что это? – говорю. Да правда ли? Признавайся, не то худо будет! А он – что бы вы думали? Я, говорит, мамаша, вполне чистосердечно вам признаюсь. Я, говорит, мальчик молодой, только что в брак вступил, и войдите, говорит, в мое положение, что жена у меня Божьим произволением без ног. – Я ему: да как ты смел в моем доме себя допустить? Что же, говорит, мамаша, неужели вы желаете, чтобы я начал вне родительского крова дебоширить? Я тогда от рук отбиться могу. – Как хочешь, отвечаю ему, а я тебя проклянущу и всего лишу, потому что это грех великий при живой жене, она видит и убивается, и срам по городу, а главное, – что грех.

А он тут мне все и выложил: вы родительница, ваша воля во всем. Как вы рассудите, так оно и будет. Ежели и вам угодно воздержание мое, и чтобы я стремление мое брачное в себе побарывал, то и на это я согласен. Только одно, что я при таком положении должен дело оставить и в монахи окончательно постричься, потому что тут требуется неусыпное внимание, и чтобы соблазнов кругом не было. А как жена-тому иночество не дозволяется, то и Аксюту должно в женском монастыре постричь. – Видите, куда метнул. Я просто обомлела вся! – Иродовы твои глаза, кричу, да ведь ты закон нарушил! – А коли желаете, мамаша, чтобы по закону все было и в монастырь вам не угодно меня отпустить, то я могу по закону сейчас развод завести, и, как на этот счет нынче не строго, то и получится назначение, чтобы Аксюту от меня выставить, а на Глашке я сейчас же законным браком обвенчаюсь. Только позвольте вам доложить, мамаша, что это по нашему сословию хуже страм, да и Аксюту я всячески жалею и уважение ей готов всячески оказывать. Впрочем же, я сам мое окаянство понимаю и на вашу волю во всем решительно отдаюсь, и как вы укажете, так и будет.

О. Леонтий слушал, прижмурив глаза и покачивая головой.

– Ой, грех-то, грех-то! Купчиха сморкалась и плакала.

– То-то грех, сама знаю – грех! Это-то пуще меня и докапывает! Неужли ж Васюте да в иноки идти? Мальчик молодой, усердия к иночеству такого нет, что ж он меня-то бобыл-

кой оставит? Единственное рождение ведь он мое! К делу теперь привыкший, непьющий. Как тут по-Божьему рассудить? Говорю ему еще: а ну Глашка да забеременит? – Очень, говорит, это все возможно. Однако и в том ваша воля: выкиньте внучонка, как пащенка. Слова не скажу. Глаша меня жалеет, но, впрочем, девушка богобоязненная, из вашей воли никак не выйдет. Что Аксюте обидно, это я тоже очень хорошо понимаю, однако, при чистосердечном моем покаянии, жду, что вы, мамаша, прикажете; велите в монастырь – и в монастырь пойду. Развод – так развод.

– Мудрствуете вы очень в миру, – сказал о. Леонтий.

– Батюшка! Да не мудрствовать, а по-Божьему решить надо! Ведь сердце мое – материнское! Грех-то мне страшен, да и сердце-то мое болит! Затмилась мыслями, как есть ничего не знаю! Вот и подумалось: пусть старец Божий рассудит, глупую меня на путь наведет, что я должна своему детищу указать!

О. Леонтий, чистый и плотный, вдруг взглянул на купчиху со строгостью.

– Так. А только вы это, матушка, напрасно.

– Как напрасно?

– К старцу Памфилию с таким делом. Он такими делами не занимается.

– Как не занимается?

– Да вы сами рассудите: ведь ваше дело мирское, соблазнительное, греховное дело. Старец мира удаляется, тем паче

соблазнов его. Инок вообще не подобает в эти дела вникать. Инок со своими искушениями всю жизнь борется, а вы тут на его суждение мирские страсти представляете. Молитвенники мы ваши, а рассуждать такие дела – это, матушка, соблазн греховный. Искушение это вам.

Купчиха опешила, смотрела, раскрыв круглый рот. Мимо шли богомольцы, послушники. Туманные, узорные тени чуть шевелились на дорожке. Пахло землей и тополевыми почками.

– К старцу ходите, – продолжал о. Леонтий, – а только я вам не советую. Вы бы уж лучше, матушка, если сомневаетесь, к белому духовенству обратились.

Купчиха заплакала.

– Что белое! Они по требам больше. Такое дело, тут, ду- малось, прозорливец Божий один указать может.

Богомольцы тянулись теперь по аллее рядами.

– Не к старцу ли? – заволновалась купчиха. – Нет уж, отец Леонтий: я пойду. Что же, ехала-ехала... А тут вдруг – не занимается! Я уж пойду!

У кельи старца, одинокой бревенчатой избушки, крошечной, у запертой двери, стояла, теснясь, плотная терпеливая толпа. Давно стояла, смиренно, молча, все бок о бок. Женщин было гораздо больше, и все как-то на одно лицо, тихие, скорбные, темные, в платках. Купчиха не хотела проталкиваться, но ее безмолвно и дружно пропустили вперед.

– Не выходил еще? – неся шепот справа.

– Выйдет, – шелестело слева.

– Молится.

– А иной раз и не выйдет.

– Выйдет.

– Выйдет.

Келья стояла в сторонке, на полянке, вся под солнцем, и тени здесь не было.

Ждали, под солнцем ждали, ждали долго, тихой толпой. Наконец вышел.

Сначала дверь стукнула, отворилась, и вышел. Маленький, седенький, подпоясанный, весь под солнцем.

Толпа заволновалась, сжалась, потянулись руки с чем-то, с платочками, со свечками, а то пустые, горсточкой, молящие благословения.

– Батюшка.

– Прими, батюшка.

– Батюшка наш.

Руки, трясущиеся, корявые, темные, тянулись к о. Памфилию. Он широко благословлял, иным говорил что-то, давал что-то, принимал что-то.

– Во имя Отца... Во имя Отца... Духа... Сына и Духа. Раба Божья... Во имя Отца...

Купчиха, сама не зная как, осмелела:

– Батюшка! Отец Памфилий! Прими ты меня, грешную... Побеседовать с тобой... Батюшка!

О. Памфилий обернул к ней светлое маленькое личико.

– Иди, иди. Иди, милая, в келейку. Пожди. Сейчас я.

Купчиха, тяжело дыша от внезапно охватившего ее умиления, пошла в дверь. Внутри было темновато и тесно. Пахло деревом, воском, маслом. В углу три лампы горели перед образами. На столе лежали кипа тонких свечей и книга.

Купчиха долго ждала, не смея присесть на толстый обрубок перед столом. Она уже привыкла к сумраку кельи, и, когда старец вошел, он ей показался таким же светлым, каким был под солнцем.

Она грузно стала на колена и ловила его сухенькую ручку.

– Батюшка... Батюшка...

– Богу кланяйся, – сказал старичок строго, впрочем, сейчас же опять просветлел.

– Батюшка... Прозорливец наш... Научи меня, глупую... Греха боюсь... Сын у меня, Васюта, один-разъединственный...

И она было начала, торопясь, теми же словами, как о Леонтию, рассказывать свое «дело», но вдруг точно забыла его и не досказала, а старец не дослушал, глядел поверх, но ласково-ласково, утешительно, сказал:

– Богу молись, раба Божия... Как имя-то?

– Анна, батюшка.

– Богу молись, раба Божия Анна. Молись Ему, милосердому, Он простит грехи... Пуще всего Господу молись.

– Батюшка, сын у меня...

– Как имя-то?

– Василий, батюшка, а невестка Аксинья.

Старец что-то зашептал, поминая Василия и Аксинью. И такое сияние шло от его лика на купчиху, что она уже ничего не помнила, кроме своего радостного, истомляющего умиления, и вся исходила сладкими, хорошими слезами.

– Спасет Господь, спасет, молись Ему прилежнее, о грехах думай, спасет Господь Всеблагий-Всемиловитый, – шептал старец, благословляя плачущую. – Во имя Отца и Сына... Вот кусочек просфорки возьми... Возьми, милая... Богу-то молись... Приезжая, говоришь? Из Твери, говоришь? Вот вечерню отстой и поезжай нынче же с миром. Поезжай, поезжай... Господь да благословит.

Купчиха шла от старца по монастырской аллее, вся заплаканная, вся умиленная, все забывшая; лицо у нее было в красных пятнах. Ей навстречу попался о. Леонтий.

– От старца, матушка?

Она взглянула на о. Леонтия круглыми, счастливыми, непонимающими глазами.

– Что ж, сказал он вам что? Подал совет?

– Сказал? Сказал, сказал! Ах, Господи, сподобилась я, грешная! Святой старец, воистину святой! Так он во мне всю душу святостью своей восколыхнул! Я перед ним стою, как дура, плачу, плачу, вот исхожу слезами, слова не могу вымолвить, а он это мне: Богу, говорит, молись... Спасет, говорит, Господь. Об именах спросил, его-то молитвы до Бога доходчивы... Мы-то Бога забыли...

– Еще пойдете к нему, матушка?

– Не велел, домой велел в ночь ехать. Вот вечерню отстою... Господи, и сподобилась же я...

Слезы у нее опять полились; круглые счастливые глаза скоро-скоро замигали.

Когда она пошла, торопясь, по аллее к монастырской гостинице, о. Леонтий посмотрел ей вслед с привычно-равнодушным соболезнованием, покачал головой и вздохнул.